

Выразителем этой мучительной и сладкой тоски по земле, по элементарному, естественному строю жизни, выразителем особой полуязыческой мужицкой психологии становится в повести старик Калистрат Ефимыч. Излучинами его первобытной души прежде всего интересуется автор повести. И именно от стихийных взрывов и томлений этого мужицкого пророка, с «зеленой» бородой, несмотря на свою старость по-плотски могучего, зависит теперь, как повернутся дела в «партизанщине» — то ли подует ветер «рыжебородый, русский, злой», и тогда «убивать так убивать. Жечь так жечь. Всех убивать, все жечь», либо сменит его «ветер луговой, зеленый, пахучий», и тогда уж ничто не заставит мужика оторваться от пашни, от древнего своего дела. Таким образом, — это симптоматично для дальнейшего развития творчества Вс. Иванова — стихия массовых движений, освободительных и могучих социальных сил заменяется здесь стихией извечного, внеразумного, биологически-«мужицкого», идущего снизу, от земляных соков и колдовских травяных запахов.

И уже не капитану Незеласову, не «трупам завтрашнего дня» противопоставлена в повести эта извечная, мужицкая, языческая стихия, а железной, городской силе организующего разума, воплощенного в образе предводителя партизанских отрядов большевика Никитина.

Но точно так же, как искажено здесь представление о судьбе крестьянства в революции, грубо примитизован и образ пролетария-питерца, посланного городом на помощь селу. Действительность гражданской войны рождала разные типы вожаков масс, в том числе и жестоких диктаторов и насильников-атаманов. Вс. Иванов в «Цветных ветрах» в образе большевика Никитина рисует неумолимый концентрат воли и железного аскетизма, не считающегося ни с чем. В системе образов, в той стихии стихийного, которая разливается в повести, образ Никитина, его воля, твердость и неумолимость решений, его рассчитанная безжалостность возникают как антитеза мужицкому безрассудству и безволию. В мужицком «тесте», как выражается Никитин, он должен служить «квашней», круто сворачивающим и подчиняющим аморфную массу веществом.

Но на самом деле все действия Никитина в повести выглядят только как холодная, обдуманная «педагогическая» жестокость. Один из критиков сравнил этот образ с легендарной «Железной маской», безжалостно и твердо вершащей суд над людьми. Таков Никитин в эпизоде расстрела одного из сыновей Калистрата Ефимыча, неправильно заподозренного им, таков он в другом месте повести, когда просто похода убивает рабочего, допустившего «брак» во время изготовления бомб для партизанского отряда. Не нарушает этого впечатления и тот ответ, который дает Никитин на слова Калистрата «Не надо кровопролитья-то, парень, мало крови тебе, ну?» — «Мне не надо. Я для всего мира. Последняя кровь». Такого рода «ставка на кровь» никогда не была свойственна коммунистам, это одна из догм самого правоверного эсэро-максимализма. Лишь в одной сцене мы ощущаем вдруг партийно-человеческое начало в образе Никитина, там, где он, подобрав случайный комок угля

в таежных горах, неожиданно улыбаясь, говорит Калистрату о бующих заводах, которые появятся когда-нибудь в свободной Сибири.

Ошибка Вс. Иванова в «Цветных ветрах» заключается в том, что большевистский разум, воля, диктаторское начало, которое несет с собой пролетариат, и стихия «органической» крестьянской души, стихия внеразумной веры в «землю» здесь слишком противопоставлены, фактически — полярны. Представители первого начисто лишены второго, а во втором нет ничего от первого. Дистиллированная воля, беспощадность Никитина исключает всякое человеческое чувство, широту и поэзию подхода к жизни, в «никитинском» начале нет жизненного биения, оно о б е з д у ш е н о; зато Калистрат Ефимыч несет с собой сплошную стихийность, внеразумность, сплошную «душу», охваченную волнами страсти, гнева или умиротворенности, наконец, «калистратовское» начало — это органическая близость к земле, к пашне, к ее болям, это переливающаяся прямо из недр земных в сердце человеку земная красота и сила. Недаром таким былинно-сказочным аккордом заканчивается повесть. Калистрат Ефимыч, оставивший партизанский отряд, как только его позвала к себе «земля», поднимает плугом пашню, «орет», словно Микула Селянинович, один в чистом поле. Подъехавший партизан напоминает ему об отряде и спрашивает: «Микитину кланяться?» В ответ Калистрат, жуя спелую ковригу хлеба, «проговорил что-то неясное». А «из мешка густо пахнуло... хлебом». Так землепашеской «вечной» идиллией символически оканчивается у Вс. Иванова весь разгул воинственных стихий и высоких ветров партизанского движения.

Идейно-художественная система «Партизанских повестей» складывалась в то время, когда на непосредственные жизненные впечатления писателя уже насаивались черты литературной искусственности, сознательно воспринятой эстетической программы. На образный стиль «Партизанских повестей» наложила отпечаток близость молодого Вс. Иванова к эстетике, пронагандировавшей в те годы «Петроградским литературным содружеством» «Серапионовы братья». Талантливая молодежь, объединившаяся в это содружество, в своем преклонении перед искусством, перед силой художественно-словесных средств выразительного воздействия на душу человека пришла к идеалистической проповеди «искусства для искусства», искусства, лишённого злободневного общественного содержания, вневременного и замкнутого в цепи «вечных тем». В теориях «Серапионов», совпадавших во многом с тогдашним «формализмом», господствовал культ «формы», «приема», целью художника становилось изыскание необычных средств воздействия и обновления литературного рассказа, или, как тогда говорили, «остранения», что представляет собой перевод любого жизненного факта в мир «странного», способного задеть воображение и непосредственные чувства читателя. Художественно-изощренные средства, культивировавшиеся прозой «Серапионов», — это сказовая, так называемая «орнаментальная» проза, в которой неавторский план повествования придавал ему особую художественную остроту, неожиданная, фрагментарная и «перевернутая» композиция, разнообразные средства иронического